ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
[12] 2011
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР
ИСПАНИЯ:
ЗЕМЛЯ И НЕБО

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В рубрике «Non-fiction» — главы из автобиографической книги Дионисио Гарсиа Сапико (1928) «Испанец в России» (литературная редакция Натальи Малиновской). Автор — из тех самых «испанских детей». Опубликованные главы рассказывают об испанском деревенском детстве, оборванном Гражданской войной.

- Дионисио Гарсиа Сапико. Испанец в России. Жизнь и приключения Дионисио Гарсиа, политэмигранта поневоле. Главы из книги
  - Часть первая. Почему я взялся за перо
    - Предварительные замечания
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
- notes
  - 1

Дионисио Гарсиа Сапико. Испанец в России. Жизнь и приключения Дионисио Гарсиа, политэмигранта поневоле. Главы из книги

О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?

Ответ: о себе. Ну, так и я буду говорить о себе.

Ф. М. Достоевский «Записки из подполья»

Часть первая. Почему я взялся за перо

Предварительные замечания

Наконец я сажусь писать автобиографическую повесть. Почему? По настоянию друзей. Зачем? «В назидание потомству». Когда я отказывался, мне напоминали: «Ты же сам любишь такого рода повествования, и дневники, и письма. Это многие любят. Доставь людям удовольствие, ведь жизнь у тебя получилась интересная, содержательная, колоритная». А один из друзей сразил меня таким соображением: «Представь себе, что тебе попало в руки жизнеописание твоего деда или прадеда, написанное им самим, во всех подробностях жизни в те далекие годы, с иным укладом… Каково будет твоим внукам и правнукам держать в руках книгу твоей жизни!» И я сдался. Но когда начал обдумывать, что и как писать, пожалел, что не вел дневника, хотя бы отрывочно. Многие имена, события, замечательные слова, разговоры затуманились или вовсе стерлись из памяти. В подробностях помню лишь то, что не раз повторял в рассказах. (Я по природе рассказчик; с детства и потом в детдоме, уже в России, я любил рассказывать ребятам о многом интересном или смешном, что со мной случалось.)

И все-таки можно усомниться: как я могу подробно описывать события пятидесятилетней, семидесятилетней давности?

Во-первых, есть люди с очень цепкой памятью. Л.Толстой, например, уверял, что помнит, как его пеленали (может быть, полугодовалого!) и как это неприятно. Память у меня всегда была хорошая, что помогало учиться в школе почти без труда. Кроме того, в 1970 году я увиделся в Испании с матерью и старшим братом, жил с ними целый месяц, и разговоры о прошлой нашей жизни помогли мне многое вспомнить, что-то уточнить. Так я сказал матери, что помню, как упал с балкона (деревенского, невысокого) и плакал у нее на руках. Она подтвердила: «Да… Тебе шел третий год». Что же касается детдомовских событий, то мы, детдомовцы, часто вспоминали о них в зрелые годы. Дополняли рассказы друг друга и вместе уточняли подробности. Это случается и теперь (правда, все реже), когда встречаемся в московском Испанском центре. Конечно, что-то я домысливаю сейчас «согласно логике вещей» и на основе жизненного опыта.

Глава первая

Моя астрология. — Моя малая родина. — Мои родители. — Как образуются испанские фамилии. — Об отце. — Как устроена волынка. — Деревенский праздник. — Снова, об отце. — Школа и учительница. — Нечто важное о себе. — Еще об отце. — Игра на дудке. — Ловля рыбы руками. — Обед у нас дома. — Сбор орехов. — Как смастерить свистульку. — Воскресный день с отцом. — Его отношение к детям. — Игра a la rebatina. — Отец плачет. — Имена моих братьев и сестер.

Родился я 19 ноября 1928 года и, выходит, я Скорпион по западному гороскопу и Дракон по восточному. Угораздило. Я имею в виду жутковатые названия. Однако, оказывается, Скорпион и Дракон (как знаки) — вполне симпатичные существа. Многие астрологические характеристики похожи на правду и очень для меня лестны, однако местами чрезмерны: не такой уж я замечательный, как там сказано. Мы-то себя знаем лучше, чем астрологи.

Как бы то ни было, удивительное дело эти гороскопы. Я отношусь к ним с подозрением: как это — расположение планет в звездном небе при моем рождении определяет мой характер и судьбу хотя бы в общих чертах? Совершенно непонятно. А полностью презирать эти «науки» — невозможно: слишком многое удивляет точностью попадания. Кроме того, этой вере (относительной, конечно) помогает и то, что, исходя из моего общего мировоззрения, окружающая нас ТАЙНА — величественна и умонепостигаема, а мы во многом просто слепые котята или, как я люблю выражаться, высокоразвитые тараканы.

Место моего рождения Серрапио (с ударением на «а»), провинция Астурия, на северо-западе Испании. Эта провинция самая маленькая по площади, но очень значительная, если судить по ее роли в испанской истории. Об этом я еще скажу. Как родился, в тот же день и окрестили. Так принято в сельской местности, видимо, для простоты. Родное Серрапио я совершенно не помню, поскольку еще в раннем моем младенчестве семья переселилась в деревню Орильес, повыше is горы, 2,5 км по извилистой дороге от Серрапио. Орильес, место моего детства, я хорошо помню и опишу во всех подробностях.

Кто мои родители? Мать, Анхелес Сапико Фернандес, — из семьи обедневших землевладельцев; отец, Эрминио Гарсиа-и-Гарсиа, — потомственный шахтер. Надо бы объяснить, как получается повторяющаяся фамилия. Дело в том, что в Испании новорожденного записывают так: имя, данное по выбору; первая фамилия — по первой фамилии отца; вторая фамилия — по первой фамилии матери. Если у обоих родителей одинаковые первые фамилии, например, оба Мартинес, то их дитя будет называться Альфредо Мартинес-и-Мартинес. Союз «и» добавляют, чтобы никто не подумал, что фамилию повторили ошибочно. Впрочем, я заметил, что в обыденной жизни этого правила редко придерживаются. Возможно, ему следуют при составлении особо важных нотариальных документов о собственности, наследстве и прочем. При желании или при особой нужде (например, когда хочется показать свою родословную) можно «пристегивать» и дальше фамилии дедов и прадедов, так что я могу называться Дионисио Гарсиа Сапико Гарсиа Фернандес Фаэс Гутьеррес… («Эк его!» — скажет русский человек.)

Эрминио и Анхелес родили пятерых детей: трех мальчиков подряд — Вириато, Марселино и Дионисио (это я), а затем двух девочек — Леонису и Марию.

Отец значил для меня много больше, чем мать, поэтому скажу сначала о нем.

Он был маленького роста, но крепкого телосложения (наверное, как все шахтеры, иначе не потянуть). Носил небольшие усы. Когда я, побывав на родине, спросил у матери какого он роста (отца уже не было в живых), она примерилась ко мне взглядом и сказала: «Как ты» (т. е. 161 см). Отец мой был один из тех «людей из народа», которые, вследствие своего характера и определенных способностей, становятся естественным центром группы рабочих или селян. Работал он на угольной шахте забойщиком. Любил читать, играл на дудке (иначе — блок-флейте) и на волынке — по виду это более сложный инструмент, но, по существу, по пальцовке, такой же простой. Волынка достойна описания.

Представьте себе кожаный мешок размером с маленькую подушечку для сидения. В мешок вставлено несколько трубок. В верхнюю вдувают воздух; другая трубка с пищиком для извлечения звука и отверстиями для игры (как у обыкновенной свирели) торчит вниз, несколько сбоку; третья трубка большая, тоже с пищиком, но без других отверстий и, значит, издает всегда один и тот же звук.

Теперь о том, как играют на волынке. Кожаный мешочек устраивают под мышкой, в верхнюю трубку вдувают воздух. Под

давлением в мешке он попадает в нижнюю трубочку с пищиком и отверстиями, на которой играют двумя руками; третью большую трубку с раструбом, торчащую вверх, кладут на плечо. Смысл этого сложного устройства заключается в следующем: поскольку играющий вдувает в мех больше воздуха, чем требуется для звучания инструмента, то на время вдоха можно перестать дуть, а флейта продолжит играть воздухом, накопившемся в мехе и нагнетаемым нажатием на мешок локтем (ведь мешок расположен под мышкой). Таким образом, волынка звучит непрерывным высоким воем, без пауз (они просто невозможны). Кроме того (еще одно характерное отличие волынки от свирели, от флейты), большая груба, лежащая на плече и направленная вверх, непрерывно издает один и тот же звук в очень красивом соотношении к мелодии. Кажется, играют двое: один выводит непрерывно льющуюся мелодию в одно, два или три «колена», а другой сопровождает ее непрерывным низким звуком. Наконец, еще одна характерная черта: волынка всегда богато украшена цветной бахромой, свисающей дугой от раструба большой трубы до мешка, а также и от самого мешка в нижней его части. Звуки волынки и вид волынщика всегда говорят о празднике, о веселье, о какой-то неисчерпаемой силе народной жизни.

Во время праздников — всяких, церковных и не церковных, — селяне собирались неподалеку от винного погребка на маленькой деревенской площади. Там пели, танцевали, звучала волынка и гомонил народ. На волынке, чередуясь, играли двое или трое — те, кто умел. Когда инструмент брал отец, я преисполнялся гордостью и думал, что он играет лучше других. Там же, разумеется, пили сидр, вино, закусывали окороком, маслинами и сыром, рассказывали что-то интересное, шутили. Кругом — толпа взрослых; не смешиваясь с ними, детвора глядит на жизнь взрослых, как на театральное представление, бессознательно готовя себя к такой же жизни.

Я никогда не видел, чтоб отец танцевал. Сейчас понимаю, что танцы казались ему занятием, неподобающим серьезному человеку. С детьми он был строг и наказывал за проделки своим воспитательным ремнем молча, бесстрастно и деловито — так, как колют дрова или подметают пол. Но мы его уважали и любили, безоговорочно признавая его главенство, силу натуры и справедливость. По вечерам, после ужина, отец довольно часто читал нам. Помню название только одной книги — «Рука человека». На обложке нарисована рука, на ней большой красивый дом (или дворец), паровоз, автомобиль, плодовый сад, еще что-то, а над всем этим в синем небе летит самолет. Уже одна эта картинка завораживала. В книге говорилось о разных

изобретениях и знаменитых изобретателях, о том, как устроены часы и другие механизмы (с пояснительными рисунками), как смастерить воздушного змея, как делают керамическую посуду, ткани, оливковое масло и т. д. Конечно, отец читал нам и сказки, и басни, и разные интересные истории. Мы слушали не шевелясь. Когда он закрывал книгу и говорил: «Все, дальше — в другой раз. А теперь погуляйте — и спать», — для меня это значило: «Представление окончено!» Чудесный мир исчезал.

Отец, до школы, на всякий случай, научил нас читать, писать и считать до ста (а дальше, мол, уже будет легче). И еще: прикрепив к стене листы бумаги с написанными четким почерком баснями, велел нам их выучить. Помню, как я, читая по складам, вникал в суть дела и, строчку за строчкой, запоминал. Позже, уже в России, в детдоме, на уроках испанского языка и литературы, нам, среди прочих басен, задали выучить одну из тех, отцовских, — она запомнилась на всю жизнь. Вот эта басня в прозаическом (как говорят в издательствах, «подстрочном переводе»):

Среди кустов, преследуемый псами,
Не скакал — летел заяц.
Вылез из своей норы другой заяц
И спрашивает: «Ты чего, братец, бежишь со всех ног?»
— А как тут не бежать?
Не видишь — гончие за мной гонятся!
— Да какие же это гончие?
— А то кто же? — Спаниели.
— Что? Спаниели, говоришь? Да они такие же спаниели, как мой дедушка!
Гончие это — я сам видел!
— А я тебе говорю — спаниели!
Тем временем примчались собаки
И схватили обоих зайцев.
Пусть тот, кто, споря о пустяках, забывает о главном,
Помнит о глупых зайцах.

Когда я вслед за старшими братьями пошел в школу, учительница посадила меня вместе с другими дошкольниками на длинную скамью перед такой же длинной наклонной доской (т. е. за очень длинную парту), дала в руки грифельную доску (из аспидного сланца) в деревянной рамочке и грифельный стержень-карандаш. На дощечке еле видно проведены горизонтальные и косые линии. Следуя им, мы должны были чертить «palotes» — наклонные «палочки». Я взял и вместо палочек что-то написал

крупными буквами. Проверяя работы, учительница удивилась:

— Ты умеешь писать? А кто научил?

— Папа!

— И читать умеешь?

— Да!

Дала что-то прочесть. Я справился и с этим. Тогда она велела мне сесть за парту для учащихся первого класса. Так я стал действительным учеником четырехклассной сельской школы, где проучился только год (зиму 1935—1936-го) — в июне 1936-го в Испании началась гражданская война.

Расскажу о нашей сельской школе, а затем продолжу про отца.

Школа состояла из одного большого помещения для учащихся и небольшой комнаты, куда иногда уходила и откуда появлялась учительница. Как во всяком учебном классе, на стене висела большая доска, перед пей несколько рядов парт. Сбоку же, почти от самой двери и до противоположной стены, длинный ряд для дошкольников. (Похожие парты я видел на картинках, изображающих средневековые семинарии.) Все четыре класса занимались в одном помещении одновременно (уму непостижимо!), и учительница учила всех по очереди в одни и те же часы. Только дошкольников отпускали раньше. Старшие ученики занимали передние парты, а остальные — задние, в соответствующем порядке. Из класса в класс каждый переходил по мере успеваемости — постепенно передвигаясь из ряда в ряд, все ближе к доске. Кто-то мог просидеть во втором классе, скажем, учебный год и еще три месяца, а в третьем классе, проявив рвение, догнать остальных. Наиболее способные ухитрялись окончить курс за три года.

Писали мы, как я уже сказал, на грифельных досках грифельными карандашами. Это круглые каменные стерженьки сантиметров десять в длину (когда новые) и миллиметров 5–6 в толщину, заточенные с одного конца. Когда коснешься карандашом доски, слышится тихий стук, так что, когда пишет весь класс, кругом раздается мягкое шуршание и постукивание.

Уму непостижимо, как ухитрялась наша учительница задавать всем разные задания, проверять их и рассказывать разным классам разное! И как ученики могли к этому приспособиться. Правда, отвлекаться на чужое накладно: нужно успеть выполнить свой урок, да побыстрее. Однако если я (или кто другой) быстро справлялся с заданием, то мог послушать, что учительница рассказывает старшим. Я хорошо помню, как она, стуча и шурша грифелем, быстро выводила на наших дощечках числа для сложения, вычитания, умножения; отдавала одну

дощечку, брала Другую, а мы должны были тут же схватить каждый свою доску — и хватали ее так, как голодный — кусок хлеба. Не потому, что жаждали знаний: попробуй, замешкайся или урони доску — получишь, по меньшей мере, подзатыльник. Учительница давала задание и спустя какое-то время, подходя к каждому, проверяла. Давая письменное задание (по языку или арифметике), могла вдруг спросить: «Семью восемь?» «Трижды девять?» Думаю, спрашивала она тех, кто плохо знал таблицу умножения. И вот еще необычная деталь: по окончании уроков мы выстраивались в ряд и, выходя из класса, повторяли нараспев таблицу умножения — кому что достанется, по очереди, начиная с того места, которое указывала учительница. Один говорит, например: «шестью шесть тридцать шесть», следующий: «шестью семь сорок два» и т. д., а она стоит у выхода с поднятой линейкой и тому, кто ошибется или задумается — линейкой по башке.

Я никогда не видел улыбки на лице учительницы. Что ж, на фронте, во время боя, тоже, наверно, не улыбаются. Сама она была молодая, опрятно одетая, с красивой прической. Голос звонкий, движения быстрые — в два взмаха стирала с доски очередные объяснения. Закончив урок, велит кому-нибудь из первых рядов стереть с доски и быстро переходит к младшим. И так, я полагаю, часа четыре или пять подряд.

Подвижница. Интересно было бы узнать, как протекала ее личная жизнь.

Между уроками бывали перерывы, без всяких звонков. Как скажет учительница: «Перерыв!» — мы вскакиваем с мест и бросаемся вон из помещения — бежим, как на пожар. На улице баловались, смеялись и вопили вволю, и учительница никогда не вмешивалась. Такой мне и запомнилась школа: во время урока — строгость, напряжение, внимание, полная власть учительницы; а в перерыв, на улице, — свобода, сумасшедшее веселье.

Я учился легко, но без всякого рвения и удовольствия: «Так надо, раз так положено. Значит, надо сделать — и покончить с этим».

Помню интересное (для последующего анализа) мое внутреннее состояние: я считал, что учительница обязательно должна меня отличить как особо способного, вообще не такого, как все. И все время ждал этого. Но нет, она оставалась совершенно равнодушной, а я — в некотором недоумении. В дальнейшем станет ясно, что это осознание своей особости — моя коренная черта: с раннего детства и до сих пор я чувствую, что я не такой, как все. Разумеется, каждый человек особенный, но важно, чувствует ли он это или нет. Я всю жизнь четко отделял себя от остальных людей и даже от всего мира: «Я — и все

остальное». И поэтому любил полное одиночество, а не только игры с другими детьми; нередко в одиночку бродил по своим заветным местам, разглядывал разные вещи, следил за ящерицами, рогатыми жуками, муравьями… Иногда, в самый солнцепек, я (скорей всего, четырех- или пятилетний) ползком забирался под заросли ежевики, где, выкопав себе ямки, сидели куры, тоже спасаясь от жары. Встревоженные, они слегка приподнимались и «говорили»: «Ко-о-о-ко-ко?» Но, видя мою совершенную безвредность, снова усаживались и, вертя головами, поглядывали на меня, а я на них. Лежу на прохладной земле, улыбаюсь и думаю: «И у меня есть свой домик, рядом с курами… никому его не покажу».

Теперь снова об отце.

Отец научил меня играть на дудке (у братьев почему-то не получалось, а может, они просто не полюбили это занятие). Мы с отцом иногда вместе играли народные мелодии, я их до сих пор помню. Могу сыграть. От этих песен веет глубокой стариной. Говорят, что астурийцы — потомки древних кельтов. Это группа древних племен (общность наподобие славян или тюрков), обитавших в самой западной части Европы, за Рейном, включая Северную Италию и Северную Испанию. Возможно, что эти мелодии — от них. Дудки же мастерил из бамбука сам отец — одну большую для себя и две поменьше для нас. Он и меня научил делать дудки; этим умением я потом, будучи уже взрослым, не раз удивлял окружающих.

Бывало, отец брал нас на речку, в низину, рыбу ловить — руками! Есть такой способ ловли. В горных речках всегда много валунов, величиной с большой сундук и более. Под некоторыми вода вымывает песок, образуя подводные пещерки. Так вот, оказывается, что в самое жаркое время форель любит забираться под такие камни и отдыхать там в полумраке и безопасности. Искусство ловли заключается в следующем. Нужно тихонько подойти к камню, обследовать, имеется ли под ним пещерка (а вода в горных речках чиста и прозрачна) и сколько из нее выходов; обычно два или три. Затем нужно найти подходящие камин, чтобы заткнуть ими все выходы, кроме одного — самого удобного для просовывания руки внутрь. По знаку отца, братья затыкают камнями лишние выходы, а отец сует руку под камень и шарит там. Как попадется форель, он торжествующе восклицает: «А-га-а!» — и после короткой борьбы с ошалелой рыбой (наверное, она могла укусить) вытаскивает ее, засунув пальцы под жабры (иначе выскользнет), и, подняв повыше, показывает нам. Отец доволен — улыбается, а уж наша радость неописуема.

Такой вид ловли не часто приносит удачу: если попадется

одна или две рыбины за час или полтора — уже хорошо. Но само это событие восхитительно: немолчный дурманящий шум бурливой воды под нависающими деревьями; запах ивы и нагретых камней; по береговым склонам кустики ежевики, которую мы мимоходом едим, если поспела; неспешная ходьба по колено или по щиколотку в воде; на быстрине босые ноги ступают по разноцветной гальке, изредка тихий разговор — и отец за этим занятием с нами на равных! На рыбалке он никогда не повышает голоса, не грозит. Потом, блаженные и усталые, возвращаемся домой, а дома — вкусный обед!

Обеды моего детства помнятся своей необычностью. Сидело за столом девять человек: дед с бабушкой, мать с отцом и мы пятеро. Ели все молча (исключая, конечно, односложные просьбы). Где такое видано? За столом обычно и начинается болтовня о разном, обсуждение накопившихся вопросов. Каждый садился всегда на свое место. Мать ставила на средину стола большую фарфоровую супницу с крышкой и двумя ручками, расписанную цветочками. Это, кстати сказать, еще один след некрестьянского происхождения матери. Как радовала меня эта супница! Во-первых, красивая, а во-вторых, внутри — вкуснятина! Все по очереди протягивали свои тарелки матери, а она накладывала кому сколько нужно. Мы, дети, сидели наготове, держа тарелку двумя руками; на кого мать взглянет, тот и протягивает ей тарелку. Отец поглядывал на нас — хочется сказать, как пастух на свое стадо: всё ли в порядке? На столе стояла большая бутылка с вином; взрослые наливали себе по своему усмотрению, наверное, соблюдая норму. Дед, например, мог выпить один всю бутылку, но не при отце. Нам же мама наливала ко второму блюду вино, разбавленное водой и подслащенное.

Запомнилась такая картинка: мы кончаем есть, но мать велит остаться за столом. Это значит — будет особое угощение! Она приносит большую тарелку садовой ежевики (крупнее и слаще дикой), совсем черной, сверкающей от родниковой воды и слегка посыпанной сахаром. Ставит тарелку перед нами: «Ну, ешьте!» Мы дружно набрасывается на ежевику, хватая ягоды горстями и запихивая в рот. Отец беззвучно смеется: «Вот саранча!» И мать улыбается.

Ходили мы с отцом в лес, собирать орехи. Заодно он учил нас то одному делу, то другому: как достать высоко висящие орешки, как спуститься с кручи, находя опору для ноги, цепляясь за корни и прочные ветки (мы ведь ходили в горный лес); как залезать на деревья, иногда по совершенно гладкому стволу; и многим прочим нужным уменьям. Забраться на дерево как можно выше и

сидеть там, обозревая округу, стало потом одним из моих любимых занятий. Я и сейчас люблю залезать на березу, растущую около моего деревенского дома в Песках.

Отец научил нас делать свистульку из нетолстой (10–12 мм) ветки орешника. Я опишу весь процесс изготовления на случай, если кто-нибудь захочет сам смастерить. Нужно отрезать кусок ветки, сантиметров пятнадцать-двадцать, совершенно гладкий, без отростков или царапин. Отступя примерно 3 см от того конца, который потолще, ровненько надрезать кору по диаметру так, чтобы начало и конец надреза сошлись. Взяв палочку за короткий участок, положить ее себе на бедро повыше колена и аккуратно простучать рукояткой ножа всю кору длинного участка, сохраняя ее целостность. Кора в конце концов отойдет от древесины — возьмите ее в кулак, осторожно покрутите и убедитесь, что она отходит. Отступя от тонкого конца на 2,5 см, нужно сделать достаточно глубокий поперечный надрез коры и древесины на глубину 5–7 мм, затем, на расстоянии примерно 1 см от этого надреза, сделать еще один косо вниз и навстречу первому — так, чтобы вынуть клинышек. Кора с отверстием от клинышка легко снимется трубочкой. Следует полностью отделить ее от палочки по вертикальному надрезу. Далее от тонкого конца палочки отрезать (и выбросить) кусок в 1 или 1,5 см. Затем вдоль отрезанного цилиндрика длиной 2,5 см снять слой древесины толщиной в 2–3 мм (смотря по толщине самой палочки, причем особой точности не требуется). На цилиндрике получится продольная плоскость. Затем вставляют цилиндрик в трубку коры — на то место, которое он занимал. В образовавшуюся щель вдувают воздух. Осталось только вставить в трубку с другого конца длинный конец палочки — и свистулька готова. Если дуть, двигая нижний конец, как поршень в цилиндре, то выйдет изменчивый по тону свист: и-и-у-у, — и-и-у-у… — (как у полицейских машин). Чем глубже вдвигаешь, тем выше звук, а если почти совсем вынуть — самый низкий. Так как и сама палочка, и нутро коры еще влажные от сока, палочка легко ходит туда-сюда. Если приноровиться, можно, как на тромбоне, сыграть простую мелодию.

Иногда по воскресеньям отец брал кого-нибудь из нас в ближайший городок (не знаю какой); он располагался в долине — дорога, извиваясь, шла вниз. Чаще всего отец брал меня. И можно понять: я — младший (надо побаловать), а кроме того, я играл на флейте и рисовал, а братья — нет. Едва ли отцу это было безразлично. Он заходил со мной в бар, где народ пил сидр (слабоалкогольный напиток из яблочного сока) или вино, играл в бильярд, в карты. Для детей там были особые столики в стороне

от взрослых, у самой стены. Мы, детишки, знакомые и незнакомые, садились за эти столики и смаковали угощение (разные сладости и печенья) и пили через соломинку (настоящую соломинку!) какие-то вкусные напитки. Разговаривали, шутили, словом, вели себя, как взрослые.

Почему-то врезалась в память такая картина: отец за столом играет в карты. Один из игроков, молодой парень, показывает на дымящуюся, почти полностью выгоревшую сигарету, что лежит на краю пепельницы: «У, проклятая, — сама выкурилась!» Все смеются.

Отец не курил, и я никогда не видел его пьяным. А что такое пьяный, я хорошо знал по деду Педро, отцу матери. Он частенько бывал навеселе, нетвердо держался на ногах и скандалил.

О характере отца и наших с ним отношениях говорит такой случай.

Как-то в жаркий летний день я бродил около нашего огорода вблизи ручья и увидал там отца. Он лежал на траве в одних трусах, прикрыв лицо от палящего солнца газетой. Было, наверно, воскресенье, и он, как говорится, принимал солнечные ванны. Шахтерам это необходимо, поскольку они проводят в шахте почти весь световой день, а в те годы в Испании шахтеры работали, кажется, по десять часов в сутки. Мне лет пять-шесть. Бесшумно ступая босыми ногами по короткой траве, я подошел к отцу не ближе трех метров — и смотрю. Почувствовав взгляд, он снял газету с лица, внимательно поглядел на меня, потом снова накрыл лицо газетой. Такие у нас были отношения: никакой сентиментальности, ничего напоказ — отец занят своим делом, и я тут ни при чем. А что сам я не подойду и не потревожу — в этом отец был совершенно уверен.

Вообще, в отношении отца к нам всегда чувствовалась молчаливая и спокойная уверенность. По-видимому, он смотрел на нас так же, как на другие свои вещи, примерно так: «Вот мои ботинки… стоят себе и пускай стоят. Вот мои дети — играют, бегают, растут… Пускай растут». Для примера расскажу такой случай: сидит он на сундуке справа от кухонной плиты и что-то читает, а я в сторонке занят своим делом. Больше никого нет. Оторвавшись от книжки, отец нагибается, берет с пола небольшую кочергу, сует ее себе сзади за воротник и скоблит спину — видно, зачесалась. Покончив с этим, вынимает кочергу, смотрит на меня без всякого выражения, как на неодушевленный предмет, бросает кочергу на пол (она загремела) и продолжает читать. То есть никакой связи между мной и своими действиями он не усматривает. А ведь связь есть: я, его родной сын, стал свидетелем этого не совсем обычного действия. Другой бы

улыбнулся — мол, спина зачесалась — или что-нибудь такое сказал.

Бывало, зимними вечерами, отец, сидя на том же сундуке и созвав нас, сыновей, устраивал игру, которая называлась a la rebatina (что-то вроде «на шарап»). Он доставал из мешочка горсть орехов (грецких или лесных, которые мы с ним собирали осенью) и бросал на пол со словами: «A la rebatina!», а мы кидались за добычей, расталкивая друг друга. Не затем, чтоб побольше съесть, а ради победы. Глядя на эту свалку, отец тихо посмеивался. Поначалу мне, как более слабому, ничего не доставалось. Я знал, что братья потом обязательно со мной поделятся, но все равно плакал с досады, а отец сердился: «Нечего реветь, ловчей надо быть!» И я наловчился — кидался, как звереныш, волчком вертелся, хватал орешки, подходил к отцу и показывал добычу. Он одобрительно улыбался.

Однажды (и только однажды) я видел отца плачущим. Он сидел на скамейке у входа в дом и вытирал слезы рукой. Это меня потрясло. Оказывается (это я потом узнал), у матери то ли родился мертвым, то ли умер вскоре после родов шестой ребенок. Этого младенца, не записанного законно и не крещеного, похоронили (то есть просто зарыли) у нас на огороде, и сделал это — отец. Помню, как я сидел на корточках, роясь в земле (наверно, строил домик); отец прошел мимо с маленьким ящиком под мышкой и с лопатой в руке, скрылся за рядами кукурузы и вскоре вернулся, уже без ящика, только с лопатой. Я догадался, что он там делал.

О характере отца говорят также имена, которые он давал детям.

Вириато — это имя талантливого военачальника, предводителя древних лузитан (жителей юго-западной части Испании), восставших во II веке до н. э. против владычества римлян; этот бывший пастух, не раз побеждавший римские легионы, был заколот во сне подкупленными предателями. Отец наверняка где-то прочитал об этом и решил почтить героя, назвав первенца его именем. Других людей с таким именем я никогда не встречал, и даже в книгах такое имя мне не попадалось.

Марселино — древнеримское имя, происходит, вероятно, от имени Марсий. Это мелкое божество древнегреческой мифологии, один из сатиров или силенов, демонов плодородия в окружении Диониса.

Дионисио (Дионис) — древнегреческий бог плодоносящих сил земли, виноградарства, виноделия, а заодно и всякого буйства и веселья.

Леониса — редчайшее в Испании имя. Leon — значит лев;

leona — львица. Имя Leonisa, если перевести на русский, могло бы звучать как Львицина.

Только самая младшая дочь получила, наконец, обычное христианское имя — Мария, может, по требованию матери или священника. Сказанного достаточно, чтобы понять: отец выбирал имена не такие, как у всех, показывая заодно свои знания. И мне это симпатично: ведь он был простым шахтером.

Глава вторая

О матери. — Материнский род. — Наш дом. — Характер нашей матери. — Их отношения с отцом. — В церкви. — Скандал между матерью и дедом. — Ловушка для воробьев. — Лекарство для тети. — Как в шахте спускают с горы вагонетки. — Катанье на рельсах. — Ацетиленовая горелка. — Наш огород. — Снег в Орильесе. — Как собирают каштаны. — Что готовят из кукурузы. — Как делают колбасу. — Сказки. — Кое-что об истории Астурии. — Арест отца

Теперь о матери.

Я уже говорил, что отец значил для меня больше, чем мать, но хочу, чтобы меня правильно поняли.

Я имел в виду значимость отца для моего детского ума и моей души. А в бытовом смысле все обстояло как раз наоборот: мать кормила, одевала, мыла нас и управляла нашей жизнью. Она была вездесуща. Тело и голос матери были с нами с утра, как просыпались, и до ночи. Отец же пропадал на работе весь день, и виделись мы с ним только поздно вечером и по воскресеньям. Как же мать могла значить меньше отца? Но на мать я (может, и братья) не обращал душевного внимания, принимал все ее заботы как должное, естественное, привычное и не питал к ней никаких лирических чувств. Надо полагать, что это в известной мере зависело и от нее: не помню с ее стороны проявления к нам особой нежности, внимания к нашим душам. Не помню, чтобы она хоть когда-нибудь играла с нами. Правда, надо сказать, что она обихаживала пятерых детей, мужа и старых родителей и ей было не до лирики. Хотя (это я сейчас ясно вижу) ей нравилось хозяйствовать, она все делала легко, ловко, всегда была в

хорошем настроении и никогда не выглядела замученной, раздраженной или недовольной жизнью.

Как я уже сказал, она происходила из рода обедневших землевладельцев, ее предки владели полями, лесами, стадами коров. Что-то еще оставалось у ее деда. Я забыл спросить у матери, что же случилось, почему семья разорилась. Но откуда-то знаю (может, брат рассказал в письме), что наследство материного прадеда разделили между братьями, и один из них (дед моей матери и наш прадед) прокутил свою часть. Но большой дом остался — двухэтажный, с красноватыми полами каштанового дерева, длинным балконом и лестницей с балясинами и поручнем. Наверху помещались четыре небольшие спальни, разделенные коридором, а внизу прихожая, большая кухня-столовая с буфетом, украшенным резьбой, и еще комната, не помню какого назначения (там я никогда не был, возможно, ее запирали от детей). Кухонную плиту топили углем, а по бокам от топки были вмурованы котел для горячей воды и духовой шкаф. Спереди и по бокам печь была выложена белым кафелем. В общем, явно не крестьянский дом.

Мать моя такого же роста, как отец (может, чуть выше), худощавая и некрасивая, с каким-то недостатком в нижней части лица, из-за чего она и разговаривала, и улыбалась несколько кривя губы. Было ли это следствием перенесенной болезни или травмы? Не знаю. Почему отец взял ее в жены? Может, по расчету? Все-таки хороший дом и братья ее (мои дядья) люди самостоятельные, крепкие… Думаю, это могло сыграть свою роль, но едва ли главную. С уверенностью скажу, что мать была от природы женщиной умной, работящей и очень неслабого характера. В отличие от отца, она много говорила, рассуждала и улыбалась своей слегка кривой улыбкой.

В письма ко мне в Россию она иногда вкладывала свои стихи, не совсем ладные, наивные, но, как всегда в простом народе, очень трогательные — о жизни нашей, о Богородице. Как сейчас понимаю, она вела хозяйство и растила нас, пятерых, аккуратно и уверенно. Сказанное означает: среди простого народа в те времена женитьба только по любви, по страсти, наверное, была редким явлением, а может, даже считалась глупостью.

Наша мама мыла маленьких в большом эмалированном тазу и делала это с видимым удовольствием, с улыбкой. Я вертелся в ее руках, как кукла. Зимой, когда в нашей Астурии холодно и сыро (мы ведь значительно ближе к облакам, чем горожане), она, укладывая нас спать, откидывала одеяла и старинным утюгом на древесных углях, подсушивала и грела нам простыни. Мы ждали рядом, чтоб сразу прыгнуть в теплую постель. А мать улыбалась.

Так мы и засыпали в легком запахе древесных углей.

Но и мама, когда нужно, умела быть строгой. Однажды она позвала среднего брата Марселино, протянула ему ведерко и железный совок и велела принести угля. Уголь хранился во дворе в большом деревянном ящике с наклонной крышкой. Марселино, самый проказливый из нас (и самый веселый!), стал пританцовывать перед ней и гримасничать, что означало: «Не принесу!» Мать замахнулась было, но брат убежал. Мать оглянулась, увидела меня, протянула мне ведерко с совком и строго говорит: «Принеси угля!» А я, подражая брату, тоже стал прыгать и кривляться, пятясь задом. Мать быстро подошла и ударила меня совком по голове. Я уже повернулся, чтобы бежать, и поэтому удар пришелся сзади, повыше затылка. Я закричал, схватился за голову, а из-под пальцев — кровь. Мать, как увидела, сама громко заплакала, схватила меня, кинулась к буфету, помазала чем-то рану и забинтовала. Потом села на стул, прижала меня к себе и долго не отпускала, утешая меня и словно извиняясь. Надо думать, она вгорячах забыла, что совок железный, и хотела только слегка шлепнуть, а я дернулся и наткнулся на острый угол совка… После, уже в России, в детском доме, повествуя про этот случай, я показывал ребятам белую отметину на голове — плешинку, которую сам разглядел с помощью двух зеркал.

По-видимому, мать с отцом жили в ладу. И здесь надо отметить очень существенную вещь: отец был членом Испанской коммунистической партии и атеистом, а мать — верующей католичкой. Как они налаживали взаимоотношения при таких расхождениях, не могу сказать. Помню только, что один раз, когда отец громко ругал ее, мать не возмущалась, не оправдывалась, а только тихо говорила — как говорят близкому, любимому человеку, когда он сердится и несправедлив: «Не надо, Эрминио…»

Была в нашем селе и своя церквушка, небольшая, однако о звонницей, и я, не часто, может, только по праздникам, ходил туда с матерью. Мне нравилось получать облатку (католическую просфорку) из рук священника. Надо было встать на колени, сложить ладони у груди и открыть рот, и священник клал туда маленькую круглую и плоскую облатку. (А про вино — что-то не помню.) Не сказать, что это было вкусно, но интересно. Скорей всего, я понимал, что участвую наравне со взрослыми в какой-то очень серьезной игре. Что касается самой службы, то я ее почему-то не помню. Я сидел рядом с матерью и, наверное, думал о своем, воображал что-нибудь — я уже упоминал о своей врожденной самостоятельности.

Из домашних событий особенно запомнились мне некоторые, очень меня, маленького, удивившие.

Однажды я присутствовал при скандале матери с ее отцом, моим дедом. Они кричали друг на друга, размахивали руками, а я смотрел, ничего не понимая. Надо сказать, что в нашем селе (наверное, и в других селах в то, уже далекое теперь, время тридцатых годов XX века) на маленьких детей без особой нужды не обращали внимания: стоят? — ну и пусть стоят; играют? — пускай играют. Отношение, примерно такое же, как к курам, кошкам. Вследствие этого мы росли неразболтанными, знали свое место и к взрослым не приставали. Во время описываемого скандала меня, наверно, просто не замечали. И вот дед грубо отталкивает мать от буфета, открывает дверцу, хватает бутылку с вином и кольцо колбасы, откусывает и, вытаращив глаза, начинает яростно жевать. Мать, вскрикнув, бросается на улицу. Дед вытаскивает пробку и жадно пьет прямо из горлышка. Вскоре является мать вместе с братом (моим дядей; он жил по соседству). Дед как его увидел, так быстренько поставил бутылку и колбасу на буфет и бросился наверх по лестнице в свою комнату, наверно, хотел запереться. Но дядя на лестнице догнал его, схватил сзади за ворот, дернул книзу и ударил падающего деда кулаком по лицу. Не сказав ни слова, дядя быстро ушел. Я в испуге и недоумении смотрел, как дед медленно пытается встать. И решил, что мне тоже лучше уйти. Дед, скорей всего, считал, что его морят голодом. У него, наверно, была какая-то пенсия, но вряд ли ее хватало на удовлетворение немалой дедовой потребности в вине. Кормил всех девятерых членов семьи наш отец. Правда, огород, лесные каштаны и орехи были немалым подспорьем.

Еще одна деталь, долгие годы вставшая в моей памяти.

Отец соорудил особую ловушку для воробьев, их в округе водилось великое множество. Едва ли он сам ее придумал, но точно не знаю. Я наблюдал, как он ее мастерит — не спеша, вдумчиво, аккуратно. В тонкой доске или фанере, размером с сиденье стула (возможно, это и было сиденье от развалившегося стула), он по всей площади проделал шилом отверстия на расстоянии не больше сантиметра одно от другого, просунул в них заранее отрезанные куски конского волоса, снизу крепко заклинил их кусочками тонкой остро заточенной ветки, а верхний конец волоса завязал подвижной петелькой — то есть наделал множество малюсеньких удавок. В итоге получилась, так сказать, курчавая доска. Я подсчитал (не тогда, конечно, а сейчас): там было больше тысячи петель! Понятно, что отец соорудил эту ловушку не за один присест. Так вот, на эту курчавость насыпали

какую-нибудь еду для воробьев, ставили ловушку на место, и воробьи кучей слетались клевать. Отец, сидя в стороне, наблюдал. Затем подходил к ловушке — воробьи вспархивали, да не тут-то было: большинство застревало лапками в петельках. Отец хладнокровно по очереди сворачивал им шеи, затем вынимал ножки из петель (хлопотливое занятие!) и уносил добычу домой. Вскоре выходил снова, поправлял петельки на капкане, ставил его в другое место и садился ждать новую партию маленьких пленников. Помню, мне было жаль воробушек.

Вы спросите: «Ну а зачем это, цель-то какая? Спасать посевы от воробьев (как это затеяли в наше время китайцы)?» Может, и так, но главное: мама готовила из воробьев вкуснейший плов! Съедали всё, кроме голов, кишок и лапок. А когда ели, нежные косточки хрустели на зубах. Сейчас, когда я вижу воробьев, что-то клюющих или пьющих из лужи, всегда обхожу их стороной, чтобы не потревожить. О рассказанном я всегда вспоминаю с неприятным чувством и сожалением.

У нас некоторое время жила болящая тетя, не из нашей деревни. Однажды к ней пришел врач и я — мне до всего было дело! — стал участником такого примечательного события.

Подхожу к комнате второго этажа, где лежит тетя, дверь открыта, и вижу, как врач осматривает больную. Рядом мать, врач что-то ей объясняет. Кивнув, мать берет стакан, подходит ко мне и говорит: «Пописай сюда». Я тут же, одним рывком спускаю короткие штанишки па резинке — и налил с полстакана. Мать отдает стакан врачу, тот, подняв его к окну, оценил жидкость на просвет и отдал тете, а та… спокойно выпила содержимое и закусила сахаром. «Ну и ну!» — думаю я и отправляюсь восвояси.

Кстати сказать, в испанских деревнях, во всяком случае астурийских, лечатся по большей части просто и однообразно, четырьмя средствами: голодом, клизмой, аспирином и детской мочой (а также, разумеется, всяческими травами). Говорят, даже головную боль лечат клизмой. Что касается мочи, мы, детишки, хорошо знали, что всякую рану следует немедленно облить этим зельем, и всякий раз с готовностью применяли это средство. Поранит кто-нибудь колено, и мы тут же услужливо поливаем рану, иногда в несколько струй. Ранка, конечно, пощиплет немного, но зато быстро заживет.

Расскажу еще о некоторых событиях.

От угольной шахты, которая находилась несколько выше нашего села, были проложены по склону горы рельсы для спуска вагонеток с углем в долину, к железной дороге. Вагонетки, сцепленные по четыре или пять, спускали с помощью длинных стальных тросов, а так как расстояние большое, то пришлось

устроить промежуточные «станции»: специальный помост придавал рельсам горизонтальное положение (получалось нечто вроде лыжного трамплина); в конце помоста, на самом высоком месте, особое устройство опрокидывало вагонетку вверх колесами, и уголь ссыпался в большую воронку, а оттуда — вниз, в другую вагонетку. Механизм с большой катушкой и намотанным на нее тросом спускал вагонетки дальше. Пустые вагонетки снова ставили на рельсы, сцепляли в ряд и медленно поднимали наверх, к шахтам. Всё это, разумеется, работало на электрической тяге.

Так вот, в выходные дни, когда на шахте никого не было, мы (пяти-шести лет) любили спускаться по рельсам, подложив под себя подходящий камень — плоский и достаточно большой. И скользили вниз то сидя, то лежа на животе, поддерживая равновесие руками и ногами. Скорость была не очень большой (трение между камнем и рельсом достаточно сильное), и редко когда кто-нибудь сваливался набок и мог поранить ноги или руки, за что получал «добавку» от родителей. Они запрещали нам такое катание, однако чувствовалось, что смотрят они на эту забаву сквозь пальцы. Наверно, думали: «А что? И смелость, и ловкость им в жизни пригодятся, а сильно они тут не покалечатся».

Мы с братом Марселино любили играть на подмостках для рельсов, он убегал — я за ним. Однажды прогнившие доски (положенные сбоку для прохода) проломились, и Марселино полетел вниз; я не успел опомниться, как полетел вслед за ним. Летели мы не меньше пяти метров. Ясно помню, как рубашка брата трепетала на ветру у меня перед глазами. К счастью, мы свалились на плотные упругие кусты ежевики и только сильно поцарапались, пожалуй, уже в кустах. Я плакал, а брат нет — вот он какой у нас был! Не помню, чтоб дома нам всыпали, возможно, жалость взяла верх. Ну что ж, царапины обработали целительной жидкостью собственного организма — и дело с концом.

Еще одно событие.

Однажды я, лет семи, поднялся на второй этаж, скорей всего, поиграть на балконе — там было с чем поиграть. И вдруг, проходя мимо родительской спальни, увидел в приоткрытую дверь отца… с пистолетом и руках! Стою и смотрю, поскольку он взглянул — и не прогнал. Вижу: вынимает из пистолета обойму, выталкивает из нее пули, орудуя большим пальцем той руки, которой держит обойму; пули одна за другой бесшумно падают на застеленную кровать. Уже взрослым, вспоминая эту картину, я думал: какое ребячество, какое легкомыслие проявил отец, а ведь серьезный человек! Я же мог, как всякий мальчишка, тут же

похвастаться приятелям: «А у моего отца есть настоящий пистолет, с пульками!» Почему он не сказал мне: «Ты ничего не видел — понятно? Смотри у меня!» Неужели сам он, еще молодой, немногим больше тридцати лет, хотел похвастаться оружием перед сыном?! Невероятно! Ведь хранение оружия каралось тюрьмой. Или был твердо уверен, что я никому ничего не скажу, даже братьям? Совершенно непонятно. Причем я так-таки никому и не сказал — далее братьям. Да, отец внушал нам, кроме уважения и любви, также и страх — странная смесь чувств.

Бывали и особо радостные события.

Праздник Трех Королей (6 января) следовал за Рождеством и особенно нравился нам тем, что в эту ночь к детям обязательно приходят волхвы — Каспар, Мельхиор и Бальтасар — и тихо кладут под подушку подарки. Проснешься утром, еще не вполне соображая, но уже предвкушая радость: «Что?.. Где?.. А!» — и руки под подушку. А там — новенькие туфельки, или книжечка с картинками, или новая замечательная игрушка…

Чистая, ни с чем не сравнимая детская радость!

Дома обязательно справляли и наши дни рождения (а может, именины?). В эти дни наши дедушки, бабушки, дяди и теги (даже жившие не близко) приходили в гости, приносили что-то вкусное и дарили деньги (так было принято — от одной до пяти песет, по мере собственного достатка). То были дорогие серебряные монеты: на пять сентимов (а сентим — одна сотая песеты) можно было купить мороженое, зажатое между двумя круглыми вафлями. Позже, в городе, я видел магазин, который назывался «Всё за 95 сентимов!», и там было множество всяких замечательных мелочей. Разумеется, деньгами нашими распоряжалась мама, однако покупали на них что-нибудь нужное владельцу «капитала»: сандалии, штанишки, рубашку… — и объясняли, на что потратили деньги.

Село наше называлось Орильес.

Орильес село горное, и, значит, я — горец (что никогда прежде мне как-то не приходило в голову). Село расположилось под кручей на пологом месте по склону одной из гор средней высоты. Вириато сказал мне, что Орильес находится на высоте 800 м над уровнем моря, однако я посмотрел по подробной туристической карте (там обозначена и наша деревушка) и увидел другую цифру — 600 метров. Около нашего дома гора поднималась гладкой каменной стеной, а выше, почти вертикально, продолжалась уже неровная, скалистая, очень высокая круча с редкими кустарниками. Брат говорит, что высота ее 500 м, но он снова преувеличивает. Может, метров триста в ней будет, — так я прикинул, глядя снизу, когда недавно — все-

таки! — посетил Орильес. (Об этом расскажу в свое время.) Внизу голубоватая долина, а за ней синеет большая горбатая гора. Между скалой и домом проходит первая (верхняя) деревенская улица.

К нашему удовольствию из скалы прямо напротив нашего дома бьет мощная струя воды. Под ней устроен каменный бассейн, откуда жители ведрами черпают воду. Оттуда же пьют животные, и никто этим не брезгует: чистейшая вода постоянно переливается через край бассейна в бетонированный желоб, откуда пьют куры и разная мелкая живность. Воды хватало на все селение и еще много оставалось: ручей змейкой спускался вниз, где впадал в другой, более мощный ручей, протекавший под селом. В мягком, немолчном шуме воды мы и просыпались, и жили, и засыпали.

Недалеко от главного источника, но повыше метров на восемь-десять, вытекает тихая струйка целебной железистой воды. К источнику ведет узкая тропинка (похоже, местами высеченная в скале). Дома у нас был особый графин с этой водой, и мать иногда давала нам ее пить. За целебной водой к нам в село из города приходили женщины в красивых платьях с разноцветными летними зонтиками и мужчины в шляпах с изящными тросточками в руках. Я смотрел на них с интересом: «Кто такие?» И начинал понимать, что где-то есть иная, неведомая и непонятная жизнь — горожане, богатые…

Около нашего дома стоял настоящий астурийский амбар, называемый оррео (с ударением в начале). Оррео является одним из предметов национального отличия и национальной гордости астурийцев, и так же, как волынка, достоин описания.

Это, можно сказать, «воздушный» амбар: он покоится на четырех или шести мощных деревянных столбах (не менее 50 см у основания) — дубовых или каштановых, самых долговечных. Столбы не круглые, а тесаные, четырехугольные, высотой примерно в два метра, и немного сужаются к верху. Сами столбы не врыты в землю, а стоят на больших плоских камнях, чтобы не гнили. На верхнем конце столбов тоже установлены плоские камни, но потоньше (сантиметров 15), однако достаточно большие: сантиметров 70–80 по каждой стороне (я прикинул сейчас по линейке). И вот на этих-то камнях и покоится нижний венец самого амбара. К верхним камням прилажены широкие доски, так что получается галерея, и можно поверху обойти амбар со всех сторон. Крыша амбара четырехскатная, крытая черепицей, и сильно выдается за столбы. На галерею и к большим дверям амбара залазят по стремянке.

Такое сооружение придумано, чтобы обезопасить продукты от

сырости, грызунов и прочих вредителей, а также от грабителей: несподручно им работать на высоте и на виду. Грызуны же, если и влезут по деревянному стволу, все равно не одолеют гладкий верхний камень. Камни эти нарочно гладко шлифуют снизу, так что и гусеница не проползет. В конце лета по стенам оррео под тенью широкого козырька на ветру развешивают для просушки гирлянды лука, чеснока, кукурузы. Внутри амбара — большие деревянные ящики и полки для хранения уже отшелушенных кукурузы, фасоли, гороха, каштанов и разного зерна. Под амбаром, между столбами, ставят, чтоб уберечь от дождя, телегу, коляску, плуг, борону и прочее, а также в самые жаркие часы там лежит скотина.

Так что оррео — это замечательное сооружение, и астурийцы могут им гордиться.

Понятно, что тогда в Орильесе электричества не было. В зимние вечера, когда рано темнеет, на кухне зажигали диковинное устройство — больше я нигде его не видел, даже в кино. Как я потом узнал, это ацетиленовая горелка: металлический цилиндр (размером с пол-литровую бутылку или чуть меньше) с небольшим «носиком» вверху, откуда выходит пламя, и колесиком сбоку, для регулирования горения. Внутри — карбид кальция, который при соединении с водой выделяет ацетилен. В России такую лампу называют «карбидной». Пламя у нее холодного, голубоватого свечения, намного ярче свечного. От него и запах шел особый (сейчас я бы сказал «химический»), но слабый и вовсе не противный. Во всяком случае, мы к нему привыкли. А отводя нас спать, наверх, мама освещала путь свечой на подсвечнике: Когда я уже в России, в детдоме, вспоминал свет ацетиленовой лампы, он казался мне символом иного мира, почти «того света», откуда я пришел в этот мир электричества и многоэтажных домов.

Орильес — село, можно сказать, рабоче-крестьянское: и, хотя в нем жили в основном шахтеры, у многих был свой земельный надел, и это понятно — само село наверняка много древнее угольных шахт. У нас в огороде, например, росли кукуруза, картошка, фасоль, лук, морковь, петрушка и разные травы. Кормил селян и лес, богатый каштанами и лесным орехом. Вдоль дорог, в открытых местах росли грецкий орех и черешня, а по берегам ручьев и речек — ежевика.

Северные земли Испании, где находится Астурия, если считать по широте, расположены немного южнее Крыма, однако зимой в нашей горной местности частенько шел снег; мы радовались, прыгали, ловили снежинки ртом и пели старинную песню:

Que nieva! Que nieva!
La Virgen de la cueva!
Los pajarinos cantan,
Las nieves se levantan!

Слова красивые, но не совсем понятные:

Снег идет! Пускай снег идет!
Богородица Пещеры!
Птички поют,
Снега тают! (?)

И действительно: снег держался недолго.

Видимо, это какая-то смесь остатков древнего ритуального пения и христианских гимнов. Надо бы спросить у знатоков фольклора.

Хорошо помню сказочные дни сбора каштанов. Селяне собирались вместе — соседи, родственники, друзья — и отправлялись в лес. Мужчины брали с собой длинные бамбуковые палки с металлическими обручами на концах, чтобы соединять несколько палок в одну длинную жердину с тонким гибким концом — выходило нечто вроде удилища, но толще вблизи рукоятки и намного длиннее. Женщины несли мешки для каштанов и сумки со всякой снедью и питьем. В лесу начинали работать. Мужчины снизу между сучьев просовывали жерди к плодам и, держа жердь, резко встряхивали ее: гибкий конец резким секущим движением сшибал каштаны. Плоды падали на землю, а вслед за ними, кружась, опускались сорванные листья. Женщины и дети постарше наступали на колючие плоды обеими ногами (передней частью подошв) и, раздвигая ступни, раздирали круглый зеленый ежичек, вынимали запрятанные там каштаны и кидали в мешки. В лесу стоял веселый гомон: взрослые шутили и смеялись, состязаясь в остроумии; а дети, и я в их числе, то наблюдали за делами взрослых, то, визжа от восторга, бегали по лесу, затевая игры. Голоса людей, свист бамбуковых жердей и треск от их ударов гулко раздавались в лесу, как в концертном зале или в храме. Бывал и отдых, и обед с вином, и, наверно по традиции, тут же пекли на костре первые каштаны. Если положить каштаны на угли, не надрезав твердую кожицу, она лопается с резким хлопком, поднимая столб пепла. Всегда найдется баловник (даже из взрослых) и обязательно к великой радости детей бросит украдкой нечищенный каштан в костер. Ели мы, конечно, и сырые каштаны.

Вернувшись домой, соседи вставали в круг и делили добычу. Всю зиму мы ели печеные каштаны и каштановый суп. Бульон получался молочно-мутный и сладковатый, однако вкусный, и ели мы его с тем же удовольствием, что и всякую иную пищу. Не помню, чтоб в детстве я страдал отсутствием аппетита — никаких «не люблю» и «не буду».

Кукурузу тоже собирали все вместе, переходя от одного поля к другому. Мать пекла кукурузный хлеб — очень вкусный, пахучий (когда теплый, недавно из духовки) и невкусный, жесткий (когда вчерашний). Видимо, в кукурузной муке много клейковины, и хлеб быстро черствеет. Часто мы ели кукурузную кашу: мать положит каждому, сколько надо, потом ждем, пока каша остынет, образуя сверху мягкую корочку, затем каждый брал ложку каши из середины, получалась лунка, и мать клала туда вкусноту — когда сливочное масло, а когда и мед. Мы либо смешаем все, либо, взяв ложку каши, макаем ее в масло или в мед — и в рот!

Ярко запомнилось мне осеннее забивание скота, душераздирающий визг свиней, когда им связывали ноги, — они как будто знали, что их ждет! Но ведь овцы, телки, козы, куры, утки — не кричат, когда их ведут на убой… Затем изготовляли разного рода колбасы, окорока. Вот одна из картин.

Прямо на улице, между домами, рядом с большими чанами с мясным фаршем, мелко нарезанным салом, вареной кровью, вареным рисом, луком и прочими приправами в круг рассаживались женщины делать кровяную колбасу. Одни перемешивали фарш и приправы в тазу, другие брали горстями эту смесь и запихивали в кишку, как бы надевая ее себе на руку по локоть. Когда начинало темнеть, посредине круга разводили большой костер, чтобы не прекращать работу и ночью. Вокруг толпятся зеваки, в основном дети. Запомнилась такая деталь: когда в одном из чанов кончался лук, одна из женщин брала в левую руку большую очищенную луковицу, а в правую — большой нож и начинала часто бить им по луковице, одновременно вращая ее кистью руки; затем срезала насеченный слой лука и снова била и крутила луковицу с удивительным проворством и точностью, причем продолжая разговор. Меня это забавляло, и, кажется, даже помню, что я из вредности, свойственной детям, все ждал, когда же она попадет ножом себе по пальцам.

За этим занятием — изготовлением колбасы — всегда кто-нибудь рассказывал что-то интересное. Помню, в один из таких вечеров я услышал народную сказку — фантастическую и страшную. Представьте себе такую сцену: лица женщин в отсветах

костра, резко очерченные черные тени пляшут по стенам домов, а когда подбрасывают сучья в костер, снопы искр взмывают к черному небу…

«…И вот она говорит: ‘Зарежь ребенка, вынь из него печень и отдай собаке, что у той старухи живет…’» Меня охватывает ужас: «Неужели из ребенка — одного из нас! — вынут печень?» И все-таки, вытаращив глаза и открыв рот, слушаю дальше, а конец сказки, оказывается, в общем, счастливый.

Теперь о событиях революционного 1934 года.

Провинция Астурия (по-испански Asturias — множественное число, так же как Афины) всегда считалась родиной народа непокорного, сильного, вечно беспокоящего правителей. Мавры, завоевавшие в VIII веке Испанию, не справились только с астурийцами. В ущелье Ковадонга арабы потерпели поражение, а их военачальник погиб. Правда, Астурия находится за высоким горным хребтом, что затрудняет военные действия, но мало ли гор преодолели арабские завоеватели. Тем более что арабы стремились к завоеванию континентальной Европы. Однако в ходе войны с Францией, за Пиренеями, в битве при Пуатье были разбиты, откатились назад, в Испанию, и, возможно, «плюнув на Астурию», занялись обустройством завоеванных земель. Как бы то ни было, именно с Астурии, свободного островка испанской короны, и началась освободительная война — реконкиста, отвоевание испанцами своих земель. Посему наследники испанской короны до сих пор носят титул «Принц Астурийский», а Астурия в отличие от других испанских провинций именуется «княжеством».

Так вот, в 1934 году в некоторых районах Испании начались рабочие волнения, а в Астурии они вылились в вооруженное восстание. Дружины рабочих заняли столицу провинции Овьедо и удерживали ее целый месяц. Восстание было подавлено и, как обычно, начались аресты и суды.

Я был свидетелем такой сцены (мне шел шестой год).

В наше село на длинных открытых машинах приехали полицейские; остановились пониже села, где проходила грунтовая дорога, и стали ходить по домам. Явились и к нам, начали шарить повсюду, открывать шкафы, сундуки, вытряхивать оттуда одежду, белье… В общем, все как оно и бывает. Мать ходит за ними, стенает, плачет — они ноль внимания. Отец молча смотрит. В конце концов полицейские наткнулись на большой моток бикфордова шнура (его используют в шахтах для подрыва скальной породы). Полицейские трясут шнуром, отец что-то им объясняет, но без толку: на него надевают наручники и уводят.

Мы, дети, смотрели на эту сцену примерно так же, как потом смотрели кино. Всех арестованных собрали на небольшой нашей площади и поставили в круг — лицом друг к другу. Приведут нового арестанта — круг расширяется. Я смотрел на отца в наручниках и ничего особенного не чувствовал: плохо понимал происходящее. Возможно, думал: «Что-то важное происходит у взрослых». Народ молча толпился вокруг. Если бы люди кричали, как-то выражали свое недовольство, я бы запомнил. В память врезалась такая картина: около арестованного высокого молодого парня стоит молодая женщина, плачет, что-то говорит, припав к его плечу. Я слышу только обрывки разговора, но по движениям парня, по его лицу, понимаю, что он говорит: «Перестань… люди смотрят, стыдно. Ничего страшного… обойдется».

Отца осудили на несколько месяцев тюрьмы.

Один раз мать взяла меня на свидание с ним. В небольшом помещении за решеткой — от пола до потолка и от стены до стены — я увидел отца. Были там и другие заключенные. Отец сидел на корточках. (В таком положении глаза его оказались вровень с моими, значит, мой рост тогда был примерно 90 см.) Он подарил мне узорчатую шкатулочку — сам сделал ее из разноцветной соломы (специально обработанной, сплюснутой и раскрашенной). В испанских тюрьмах (а может, и в других странах) был такой обычай — занимать заключенных (наверно, с небольшими сроками) ручным трудом и всякими самоделками. Куда делась эта шкатулочка, не знаю, а сколько раз я потом жалел, что не сумел ее сохранить — теперь смотрел бы на нее и думал: это мой отец сделал своими руками… Очень жалко.

Глава третья

Гражданская война. — Гибель отца. — За что его расстреляли. — Как спасся мой дядя. — Дядина флейта. — Жизнь моих братьев. — Мои сестры.

18 июля 1936 года в Испании началась Гражданская война. Реакционные военные круги, правоверные католики и националистическая партия «Испанская Фаланга» вместе с другими правыми выступили против Республики и правительства Народного фронта, образованного в результате демократических выборов 16 февраля того же года. Восставшие сумели обеспечить себе победу в одной трети территории Испании (частью на севере и северо-западе — Арагон, Старая Кастилия, Леон, Галисия, —

частью на юге и на западе) практически сразу.

По предложению Франции демократические европейские страны, защищая свои финансовые и торговые интересы в Испании, приняли «Декларацию о невмешательстве», а нацистская Германия и фашистская Италия стали помогать мятежникам, сначала вооружением, а затем и войсками. Помимо прочего, они хотели испытать в боевых условиях новые образцы вооружения. Немцы испробовали эффективность массированной бомбардировки на старинном городе басков Гернике, разрушив его полностью за несколько часов.

На стороне Республики сражались верные правительству военные части и сразу же созданные из членов левых партий (социалистов, коммунистов, анархистов и разнообразных рабочих партий) отряды «милиции». Правительство вынуждено было вооружить их. Кроме того, были образованы (главным образом, усилиями коммунистов разных стран) Интернациональные бригады.

Гражданская война с самого начала показала свое свирепое, трагическое лицо. Один из главарей мятежников Эмилио Мола теоретически обосновал правомерность крайней жестокости и массовых казней республиканцев военной и политической необходимостью — иначе не добиться победы «над сильным и хорошо организованным врагом». Репрессии со стороны республиканцев не были столь организованными и теоретически обоснованными; к ним прибегали, главным образом, анархисты и неуправляемые группы рабочих, которые убивали и грабили богачей, расправлялись с сочувствующими мятежникам и, что было уж совсем безрассудно, жгли церкви и монастыри, расстреливали священников и монахов. В народе распевали такую песенку:

Если б знали попы и монахи
Какое избиение им уготовано,
Сами бросились бы на хоры,
Чтоб петь: «Свобода, свобода, свобода!»

Понятно, что речь шла о свободе для рабочих и крестьян. Это, конечно же, играло на руку националистам и клерикалам и позволило им раструбить на весь мир о «звериной» сути красных, умолчав, естественно, о своих зверствах.

Советский Союз (или, как часто пишут западные историки, Сталин) не сразу решился помочь Республике, не желая противопоставлять себя европейским странам (не чувствуя для этого достаточно сил). Хотя первый транспорт с продовольствием

прибыл в Испанию 18 сентября, а с вооружением — 15 октября, т. е. через три месяца после начала войны — не так уж и поздно.

После двух лет и девяти месяцев тяжелейшей борьбы Республика пала и начались обычные в таких случаях репрессии. Называют такие цифры: 200 000 расстрелянных и два миллиона заключенных. Всего же в гражданской войне погибло с обеих сторон около миллиона человек.

Не раз за три года побывав на краю гибели и счастливо одолев множество испытаний, отец погиб уже в мирное время. Правда, сколько он провоевал и воевал ли вообще (ведь люди нужны были для дела и в тылу), я не знаю, и братья тоже не знают, поскольку всю войну провели во Франции. Маму же я почему-то не расспросил об этом, а она умерла в 78-м. Я только спросил ее, был ли отец ранен, она коротко ответила «нет», что, впрочем, не означает, что отец был на фронте. О том, как он погиб, мне рассказали мать и дядя (брат отца) в 1970 году.

Победители поступили хитро: поначалу арестовывали только очевидных противников — оставшихся коммунистов и уличенных в «военных преступлениях». Затем репрессии почти прекратились, вследствие чего все, кто боялся ареста, вышли из подполья, вернулись домой, устроились на работу. Так поступил и отец (а он был коммунистом), скрывавшийся у друзей в другой провинции. Ему сообщили, что аресты закончились, что коммунистов даже берут на работу, и отец вернулся. Но вскоре началась новая волна репрессий: франкисты устроили облаву и схватили всех, кого считали виновными в убийствах богачей, грабежах, поджогах монастырей, расстрелах военнопленных, и тех, кого посчитали опасными местными лидерами рабочего или «красного» движения. Одних судили по всей форме, с другими расправились посредством военно-полевого суда, а проще говоря — самосуда. Среди них оказался наш отец. В чем его обвиняли? Я спрашивал мать и старшего брата, но они ничего не могли сказать. Мой родной дядя (брат отца) тоже был арестован, но с ним случилась романтическая история (о которой я расскажу) — он спасся. Мы с братом ездили повидать дядю в его родной город Моред. Вот его рассказ.

«Рано утром к арестантам являлась расстрельная команда, старший зачитывал список приговоренных. Те, чьи имена он называл, отвечали как положено: ‘Здесь!’ (в России говорят „я!“). Знали ли они, что их ждет? После переклички приговоренных выводили, увозили на грузовике подальше от села и, как рассказывали очевидцы, ставили в ряд на краю большой, заранее вырытой ямы и расстреливали: жертвы сами падали в яму. Ставили следующих, расстреливали и затем закапывали».

Сколько раз я, с болью в душе, представлял себе эту сцену:

— Эрминио Гарсиа-и-Гарсиа!

— Здесь!

Так и вижу злосчастного нашего отца на краю ямы, с завязанными руками, в ожидании залпа, который положит конец его жизни. О чем он думал в ту минуту? Может, вспоминал нас, своих детей, оставшихся без него, далеко на чужбине? Он ведь знал, что нас, сыновей, отправили за границу, в особые детские дома. А может, ни о чем не думал, ничего не чувствовал? В России, в восемнадцатом году, одного молоденького офицера, уже поставленного к стенке и чудом спасшегося, священник потом спросил:

— Митя, что ты чувствовал? Страшно было?

— Ничего не чувствовал, весь одеревенел [1].

А ведь если б отец не погиб, я б увиделся с ним, как увиделся с матерью в 1970 году в Испании, в свои 42 года! Поговорили бы как взрослые люди, вспомнили бы то, другое, я б расспросил его о многом… А он, может, порадовался бы, что я в какой-то мере оправдал его ожидания, что не напрасно он вел нас твердой рукой, просто и ясно, в самые важные, первые, годы жизни.

С особой горечью добавлю к этому рассказу то, о чем узнал совсем недавно от моей приятельницы испанки Виолеты Гонсалес (она сейчас тоже живет в Москве). Когда я сказал ей, что мой отец был расстрелян и никто из родных не знает толком за что, она сказала с уверенностью: «А я знаю. Моего отца тоже расстреляли, и когда я увиделась с матерью и спросила за что, она без тени сомнения ответила: „За то, что мы решили отправить детей к коммунистам, в Советский Союз. Многих за это расстреляли. Так франкисты избавлялись от убежденных идеологических врагов“. Я обомлел. Значит, отец погиб из-за меня — поскольку в Советский Союз был отправлен только я (два моих брата попали во Францию, а сестры остались в Испании). При одной этой мысли у меня защемило сердце.

А с братом отца Хосе Гарсиа (тоже шахтером и тоже арестованным тогда же коммунистом) случилось вот что.

У него был закадычный друг детства и юности, с которым они вместе росли, ловили рыбу и участвовали во всяких забавах и проделках молодости. Так вот, в гражданской войне они с другом оказались по разные стороны баррикад: дядя за красных, а друг его — за националов. Дядя рассказывал:

„Нас, человек десять, держали в большом каменном сарае. И вот однажды входят к нам военные и среди них — мой друг, причем в каком-то чине, наверно, сержантском. Увидел меня и говорит: „А-а-а! Кого я вижу!“, и, обращаясь к своим, добавляет:

„У меня с этим типом свои счеты! Я им сам займусь, не возражаете?“ Начальник, тоже небольшого чина, пожал плечами: мол, делай, как знаешь. Военные ушли, забрав с собой часть арестованных. (Между прочим, дядя сказал, что уводили не всегда на расстрел: некоторых отправляли в тюрьму, чтобы затем законно приговорить к разным срокам заключения.) И продолжил рассказ: „Попозже заходит к нам мой друг, один, и, поглядев на меня, приказывает: Выходи!“ Я встал, вышел. Идем рядом, молчим. Наконец он останавливается и спрашивает:

— Ну, что думаешь?

— Что ты не изменился.

— Правильно думаешь…“

Мы обнялись. Он дал мне адрес своих родственников, что жили в дальнем селе, сказал, что предупредил их: „Поживи пока у них и пореже показывайся на улице. Я сам тебя найду, когда всё уляжется“. Дал немного денег, и мы простились. Месяца через два он объявился, сказал, что вроде все стихло, что он договорился с кем надо — я могу вернуться на шахту и спокойно работать.

Между прочим, можно понять местные власти (и хозяев шахты), которые, наверное, рассуждали так: „Смута кончилась, красные получили по заслугам, и хватит. А то работать некому — и так многих поубивали“.

В 70-м году дядя, старик лет за семьдесят, жил уже на пенсии. У него была изуродована правая рука (два пальца скрючились, а на тыльной стороне виднелся корявый шрам); правая сторона лица — вся в отметинах, как от оспы, только темных, как точки татуировки. Я спросил, что это, дядя объяснил: „Следствие неудачного подрыва; сами виноваты: поспешили, недосмотрели“. И одно веко было у него повреждено, однако зрение не пострадало. Помня, что в детстве я играл на дудке, он вынес из дома вполне приличный инструмент и дал мне поиграть. Слушал с улыбкой. Эту флейту они купили для десятилетнего внука, который гостит у них летом. Внук тоже поиграл, как умел. Я его поучил немного — показал, как удобнее, и мальчик охотно поупражнялся. Затем удивил меня дядя: взял инструмент и сам сыграл простую мелодию, да еще извинился, что не слишком ладно получается, поскольку не все пальцы работают.

Есть у простого народа тяга к искусству! Люди чувствуют в нем благородную тайную силу и хотят к ней приобщиться. Естественнее всего это происходило в те времена, когда еще не было ни радио, ни музыкальных записей, и человек творил сам, пусть неуклюже, но подлинно, так же как шумят деревья и поют птицы.

Немного о братьях и сестрах.

Братья мои, Вириато и Марселино, с четырнадцати лет начали работать на той же шахте, что и отец (уже после его гибели), погонщиками мулов. В горных выработках на разных уровнях проложены рельсы, по которым мулы возят вагонетки с углем. С верхних выработок (открывающихся в разных местах по склону горы), уголь ссыпается в нижние через воронки, и только от самой нижней выработки рельсы идут вниз, к железной дороге. Мулов надо было запрягать в вагонетки, везти под уздцы, пасти или давать корм, поить — в том и состояла работа подростков. Когда Вириато достиг рабочего совершеннолетия (шестнадцати лет), его взяли в забой, а место погонщика досталось Марселино.

Вириато рассказывал, что иногда работал в ночную смену и возвращался домой в шесть утра, когда зимой еще темно и лежит снег (днем, при солнце, снег тает). До дому пять километров (может, брат и тут преувеличивает?), а в тех местах волки бродят. Страшновато! Брат брал с собой пару динамитных патронов и как только заметит движение вдалеке, „как ноги задрожат“, сразу кладет динамитный патрон на камень, поджигает фитиль — и бежать. Через десять секунд — сильный врыв, а потом долго еще эхо разносит грохот по горам. С волками, наверно, делался нервный припадок, а в довершение всего брат начинал громко петь, чтобы волки знали: он их совсем не боится! Это он умеет так оглушительно грохотать!

Проработал Вириато на шахте недолго, всего двенадцать лет. Врачи сказали, что начинается силикоз (профессиональная болезнь шахтеров от воздействия угольной пыли на легкие), и брат ушел с шахты. Поскольку нужно было кормить себя, маму и бабушку (деда уже не было в живых), он отправился во Францию работать на стройке, сначала разнорабочим, а затем, со временем, маляром, паркетчиком и кем-то еще. Во Франции ценили испанских рабочих за добросовестность и высокую производительность и вследствие того прилично платили, на что местные рабочие, бывало, жаловались. Как-то Вириато пришел по делу к прорабу, застал там французских рабочих и сразу догадался, о чем речь, потому что начальник, увидав его, зло сказал рабочим: „Работайте не хуже его — тогда и требуйте!“

К шахтерской инвалидной пенсии брата приплюсовывалась заработанная во Франции, так что, вернувшись в Испанию, Вириато стал жить припеваючи. Много читает, любит гулять по горам с транзистором. Жаль, что женился он поздно, жена была уже в летах, и детей у них нет (а у меня — племянников).

О втором брате Марселино рассказ совсем короткий. Он проработал вместе с братом десять лет (с четырнадцати до

двадцати четырех) и, не успев ни жениться, ни народить детей (опять же я лишился племянников) погиб в шахте. Вириато рассказал, как это случилось. Я уже говорил, что между выработками разного уровня проделаны большие отверстия, обложенные железным листом в виде воронки, через них уголь ссыпается в вагонетки с верхнего уровня на нижний. Так вот, если подняться по этим воронкам (что требует изрядной ловкости), можно сразу попасть на верхний уровень и не идти сотню метров до лестницы. Надо только рычагом открыть люк, но главное — надо чтобы воронка была пуста. Марселино или забыл об этом, или думал, что воронка пуста, дернул за рычаг — и на него обрушились тонны две или три угля. И похоронили под собой. (Видимо, когда под воронкой стоит вагонетка, рычаг двигают издалека, с помощью ремня или цепи.)

В письмах ко мне таких-то годов мать жаловалась на Марселино, писала, что он любит кутить с друзьями и приносит в дом мало денег. А я помню только его озорное, улыбчивое лицо, его шутки, игры с ним, беготню, и мне очень жаль брата.

Сестра Леониса у меня самая любимая. Она умная, добрая, да еще и работящая. Родила двух детей: Маноло и Бегонью. Пишет стихи — и неплохие, присылает их мне. Терпелива с мужем: он ниже ее по развитию, и, когда я жил у них в семидесятом, сестра мягко намекнула, чтоб я был с ним поделикатнее — ненароком не ранил его легко уязвимое самолюбие и не раздражался, видя, как он озабочен постоянным желанием доказать, что и он не дурак. Зовут мужа Мануэль Тока; по профессии штукатур. Живут они в приморском городе Сантандере у Бискайского залива.

Вот некоторые из стихов Леонисы (в моем подстрочном переводе):

Поэзия, как ты мила,
Сколько желанных мечтаний
Пробуждаешь ты в умах
Отчаявшихся людей.

Не оставляй меня никогда —
Я умру от горя:
Как мне жить без крыльев,
Которые ты мне даришь?

* * *

Охвати меня забвение,
Не хочу вспоминать
Ни плохое ни хорошее,
Коль плохое одолевает.

* * *

Хотел срезать розу
Влюбленный юноша,
Но, рассмотрев ее вблизи,
Был ею очарован.

Лишь прикоснулся он к стеблю —
И роза задрожала,
И представилось ему,
Что и она в него влюбилась.

С пустыми руками
Он удалился.
Роза осталась сиять
Несказанной гармонией.

Если бы он обернулся
В печали.
Увидел бы, что роза
Умирает от любви.

* * *

Ты ищешь неустанно
Лекарство для своей печали,
Это все равно что искать
Ручей в песчаной пустыне.

Сердце все бьется и бьется
В целом море смуты,
Меж тем как душе все снятся
Гирлянды разных цветов.

На смерть матери

Приготовь мне место рядом,
Буду тебе попутчицей,
Будем с тобой неразлучны
И днем и ночью.

Оставь дверь к себе открытой,
Поставь стражем свою душу,
Когда настанет мое время
Я тихонько лягу рядом.

Я приду к восходу,
Чуть только утро забрезжит,
И не будет больше ночи,
Приносящей столько боли.

Соединятся наши души,
И осветится наш путь,
И будем навеки счастливы,
Поменяв землю на небо.

Ангелу-хранителю

Играй мне на своей арфе
Так, как один ты умеешь,
Твои ангельские звуки
Утишают мои горести.

Не прерывай свое пение,
Я буду всегда внимать ему,
Пой, ибо без этих звуков
Душа моя опустеет.

Если тебе неуютно
На нашей жесткой земле,
Оставайся в своем раю,
Пусть звуки льются с небес

* * *

Если мы еще способны
рассматривать
Всяческое изящество сада,
Разноцветие цветов,
Испускающих свой аромат,
Что же мы жалуемся?

Если в ночном небе
Любуемся блеском звезд
И одна из них завлечет тебя
Среди прочих,
Что же мы всё жалуемся?

Если любо нам смотреть
Как льется вода с обрыва,
Как солнце садится красное,
Иль встречать прелесть рассвета,
Что же мы жалуемся?

Марию, самую младшую, во время гражданской войны отправили в Бельгию, там добрые люди ее взяли на воспитание. Она до сих пор живет в Бельгии. Мы расстались, когда ей было четыре года, и я ее, маленькую, почти не помню. Не знаю почему, но мы, братья, мало общались с сестрами. С Марией мы встретились только в 70-м году, в Испании. Она выше всех нас, низкорослых (брат ростом около 170 см, а она заметно выше). Сестра мне понравилась: добрая, мирная женщина, улыбка очень приятная и голос. Муж ее тоже испанец, занимается ремонтом автомашин. Хороший парень. У них трое детей. Живут всей семьей в небольшом бельгийском городке Конблан-о-понт, построили хороший двухэтажный кирпичный дом, при нем красивый ухоженный садик (сестра показывала фотографии).

Сестры пишут мне и звонят несколько раз в год, расспрашивают что и как, зовут побывать у них, а я, в общем, домосед, все обещаю — и все откладываю. Они уж посмеиваются надо мной: „Значит, приедешь? А сколько лет ждать?“ Что до брата Вириато, так он вообще ставит меня в безвыходное положение: Я, — говорит, — оплачу тебе дорогу в оба конца и здесь обеспечу всем необходимым». В ответ я длинно и витиевато оправдываюсь.

Сам я ни разу никому не позвонил, на письма отвечаю редко. По этому поводу Леониса сложила такие стихи:

Стоял такой перезвон колоколов

В тот день,
Что я выглянула в окно
Посмотреть, что же случилось,

И увидела почтальона
С письмом —
Сияющее разными цветами
Это было письмо от брата.

Глава четвертая

Я уезжаю из дому. — Наш разговор с дядей. — Жизнь с Томасом и Эстер. Ловля певчих птиц. — Воздушная тревога. — Мои выступления с военными песнями. — Мои заработки. — Приезд отца. — Расставание с Томасом и Эстер. — Отплытие из Хихона. — Остановка во Франции. Перст Судьбы. — На советском пароходе. — Прибытие в Ленинград. — Моя первая ангина.

Когда в июле 1936 года началась гражданская война (мне было уже семь с половиной), республиканские власти мобилизовали рабочих на фронт или на работы в тылу, и многие семьи остались без кормильцев. Ввиду этого было решено отправить детей из этих семей к тем, кто вызвался помочь. Нас, братьев и сестер, почему-то отправили в разные места. Расставшись тогда в Орильесе, мы встретились только через 34 года.

Приведу рассказ о том времени моего дяди Руфо (мужа тети, маминой сестры), с которым я тоже встретился, когда побывал в Испании в 70-м году. До войны Руфо служил на шахте каким-то мелким начальником (вроде десятника) и, кроме того, имел приличный земельный надел. Жил он в другом селе, пониже Орильеса. Так вот, узнав, что меня хотят отправить к чужим людям, он пришел к нам, отвел меня в сторону и говорит: «Зачем тебе ехать к чужим людям? Живи у нас, с тетей, с братишками…» Я насупился и замотал головой. Почему? Ни тогда, ни теперь толком не отвечу на этот вопрос. Тут — *Судьба работает*. Дядя стал уговаривать: «Да ты подумай как следует: увезут тебя бог знает куда, к чужим людям… Что с тобой будет? Умрешь на

чужбине…» И тут я сказал: «Что там, что здесь, а умереть придется». «Знаешь, — прибавил к своему рассказу дядя, — а тогда ты вышиб у меня слезу!» Разговор с дядей я помнил, но как ему ответил — забыл. Это был самый первый случай, когда меня хотели взять в семью. А всего таких случаев набралось пять (расскажу о них по ходу действия).

Хорошо помню, что меня отвезли в долину, там текла речка, были проложены шоссе и железная дорога. Меня, вместе с другими детьми, (наверное, человек двадцать) посадили на поезд (или в автобус?) и привезли в город Португалете, уже не в Астурии, а в Басконии. Там нас собрали в каком-то помещении, повесили на шею квадратные картонки с крупно выведенными на них номерами и усадили на стулья вдоль стен. Затем объяснили, что какое-то время мы поживем у добрых дядей и тетей и что нам у них будет очень хорошо. После чего в комнату вошли взрослые, тоже с картонками вроде наших. Оказывается, чтоб не было обид и не досталось кому-то «получше», а кому-то «похуже», нас решили попросту «разыграть»: желающие приютить ребенка, вытаскивали из мешка номер, а затем по номеру искали «своего» ребенка. Выбрать можно было только одного — мальчика или девочку. И вот подходит ко мне высокий дядя с тетей ростом поменьше, посмотрели на меня — улыбаются (остались довольны) и спрашивают:

— Как тебя зовут?

— Дионисио.

— Хочешь пожить у нас?

Отвечаю: «Да». (Наверно, поверил, что будет хорошо.)

Они тоже назвали себя: Томас и Эстер.

Мне, во всяком случае, уж точно повезло: люди они оказались очень хорошие. Мы подружились, и прожил я у них — совсем иной, удивительной для меня жизнью — почти год. Сначала в Португалеге, на берегу моря, а затем в Голосе, тоже в Басконии, но уже без моря (примерно 30 км южнее Сан-Себастьяна). Почему они переехали в другой город — не знаю (хотя нельзя забывать, что шла гражданская война).

Томас работал в маленькой пекарне, но был ли он хозяином или просто пекарем вместе с другими четырьмя рабочими, или же был главным пекарем у хозяина, не знаю. Ясно одно: он там руководил. Иногда Томас брал меня с собой, показывал, как железная «рука» месит тесто в вертящихся котлах. Молодые пекари быстрым простым движением лепили цветки из теста (что-то вроде розы) и выпекали специально для меня — чудесное было угощение. А если я уставал, меня укладывали на мешки с мукой и накрывали пустыми мешками. Я лежал и глядел, пока не засну,

как ловко они работают.

Брал меня Томас и на охоту. Втроем с Эстер мы поднимались на лесистую гору, Томас уходил в лес, а мы располагались на поляне. Спустя какое-то время вдалеке слышались выстрелы. Эстер, зная и время обеда и свое дело, разжигала костерок, чтобы разогреть пищу, стелила скатерть и раскладывала припасы.

Особенно удивительным казалось мне устройство, которым Томас ловил певчих птиц: он срезал молодое деревце, метра два в высоту, заострял нижний конец, прочно втыкал его в землю метрах в десяти от места, где мы сидели, убирал всю листву и некоторые ветки, обмазывал оставшиеся ветки особым клеем, подвешивал на деревце маленькую клетку с певчей птичкой (наверное, выбирая самца или самку, смотря по тому, кого нужно поймать) и садился за обед. Птичка в клетке пела, к ней прилетала другая, садилась на веточку — и приклеивалась лапками гак прочно, что Томас успевал подойти, схватить птичку и посадить в клетку, принесенную из дома. Я молча следил за его действиями. Не думаю, что я радовался, когда птичка попадала в клетку…

Живя в Португалете, я узнал войну вблизи. Раздавался вой сирены — «Воздушная тревога!» — тетя Эстер наспех совала в сумку какие-то вещи, бутылку с водой, и мы бежали на улицу, в подвал соседнего дома — в бомбоубежище. Вскоре раздавались взрывы бомб, иногда так близко, что содрогались стены. Было страшно; Эстер крепко обнимала меня. Однажды мы оказались в бомбоубежище вместе с дядей Томасом, тогда бомба упала рядом с домом. Такого грохота я никогда прежде не слышал — ни от грома, ни от чего другого. Я оцепенел. Когда мы вышли наружу, увидели людей, столпившихся возле большой воронки от бомбы: все говорили разом, показывая на кровавые полосы и прилипшую к стене густую беловато-розовую массу — человеческие мозги. Тут же на тротуаре, среди битого стекла и штукатурки, чернела большая лужа крови. Труп уже убрали. Отовсюду слышалось: «Чуть-чуть не добежал…» Почему противник бомбил это место? Я думаю потому, что рядом находился португалетский «висячий мост» (так его называли, а вернее сказать, это был висячий паром). На другой стороне залива — городок Алгорта. По обе стороны залива— две железные башни, соединенные на большой высоте (чтобы могли проплывать пароходы) длинной металлоконструкцией. Наверху по рельсам шли железные тележки, а к ним, на стальных канатах, была подвешена большая крытая платформа для перевозки людей (а может, и автомашин). Эти-то перевозки, наверное, и хотел уничтожить враг, а нам доставалось, так сказать, заодно.

Расскажу забавную историю.

У меня был хороший музыкальный слух и хорошая память, так что я легко запомнил некоторые республиканские, антифашистские песни. Такого рода песни всегда появляются во время войны (например, «Вихри враждебные» и т. п. в России…). Спел раз, другой, попросили еще и еще раз — слушали и радовались. И вот я в окружении нескольких молодых бойцов республиканской армии, одетых в синие форменные комбинезоны, с кобурами на боку, звонким мальчишеским голосом, воздевая кулачок, пою:

Бросай гранату!
Пусть летят осколки!
Подкладывай бомбы
И сжимай в руке пистолет!
Нет пощады этим канальям,
Которые…

Не помню, ни что дальше, ни что это за «канальи» и зачем их уничтожать. Пение мое всех приводило в восторг и умиление. «Выступал» я на улице возле нашего дома. Соседи — или просто прохожие — давали мне деньги на конфеты и мороженое. Сейчас, вспоминая, я себя не узнаю — это совершенно не в моем характере. Нужно найти объяснение. Да, случалось, я играл для других, не для себя, на флейте — это еще можно понять: хотел показать свое «искусство». Но петь как артист партийные песни?!

На первом этаже под нами был продуктовый магазинчик. Хозяйка знала, что я не здешний — из «приемышей», полюбила меня и тоже давала деньги, причем иногда сразу по пять песет («пятак» — это самая большая серебряная монета). Как завидит, говорит: «Поди сюда, миленький!», и обязательно угостит чем-то или денег даст. Я деньги не тратил, а копил, поскольку все, что нужно, мне покупали Томас и Эстер. Только иногда покупал мороженое. Они поддержали мое решение копить деньги и, чтоб легче было хранить (и считать), меняли мою мелочь на монеты в пять песет. У меня накопился довольно высокий столбик этих «пятаков». И вот что из этого вышло.

Однажды я, видимо, долго сидел молча, глядя в одну точку. Томас заметил и спросил: «О чем задумался?» Я ответил: «Об отце». И что же? Через несколько дней приходит письмо от отца: он хочет навестить хозяев и повидаться со мной! (Разумеется, родителям сообщили, где их дети.) И вот отец приехал. Мы не виделись примерно год. Как я уже говорил, отец не отличался сентиментальностью: он внимательно посмотрел на меня,

похлопал по плечу, спросил, как живется. Эстер накрыла на стол, все сели, и за едой и питьем начался общий разговор о положении дел в стране. Среди прочего, Томас рассказал отцу, что я зарабатываю деньги пением и игрой на флейте. Я принес свои монеты, показал ему. Отец спросил, что я собираюсь с ними делать. Я сказал: «Не знаю, — и добавил: — Если хочешь, возьми себе». Отец подумал и сказал: «Ну что ж, пожалуй, возьму», — и тут же стал, не торопясь, совать их в кармашки жилета. Видимо, очень уж нужны ему были деньги.

И все же так и хочется сказать: «О времена! О нравы!»

Мое житье у этих приятных людей кончилось тем, что однажды к нам явился один из моих родственников, скорей всего дядя (их у меня много) и сказал Томасу, что меня отправляют в Советский Союз… Показал какие-то бумаги. Теперь-то мы знаем, что отправку детей организовала Компартия. Томас не хотел меня отдавать и сопротивлялся, как мог. Они долго спорили при мне. Дядя что-то объяснял про Россию, Советский Союз, социализм, и мне запомнился один из доводов: в России мне бесплатно дадут хорошее образование. Томас возражал: незачем ради этого отправлять меня в такую даль, он берется обеспечить мне образование в том учебном заведении, какое я выберу. Наконец спросили меня, хочу ли я в Россию. Я, конечно, очень хотел: ничего себе — поехать в Россию, страну социализма, вместе с другими ребятами! Но и обижать хорошего человека не хотелось, так что я опустил голову, уперся глазами в пол и ничего не ответил. Но, как известно, молчание — знак согласия. Дядя переночевал у нас, и на следующий день мы с ним уехали.

Расставание было очень печальным. Эстер плакала навзрыд.

Дядя повез меня в Астурию, в крупный портовый город Хихон и сдал в особый детдом, где собирали всех, кого отправляли за границу: в СССР, во Францию, в Бельгию. В этом детдоме я впервые ощутил дух социализма: совместное житье множества детей, распределенных по группам, воспитатели, ходьба строем с песней, пылкие речи взрослых о фашизме, о социализме, о могучей Советской России, где все люди братья, о Ленине и Сталине. Мне, с моей врожденной независимостью, все это казалось странным и чужим. Помню, как я, бывало, стоя в сторонке, думал: «Вот — я, а вот — они». В строю я нарочно шел не в ногу и лягал того, кто сзади попадал мне носком по ноге. Воспитатели меня за это ругали. Прожил я в этом детдоме, наверное, больше месяца, и в конце концов что-то мне в нем полюбилось. Что именно? Может, все-таки общность, равноправие, повседневная ясность жизни и взрослые люди, твердо руководящие домом и пекущиеся об общем благе?

Конечно, ребенок принимает или отвергает что-либо только инстинктивно. А как же моя независимость? Она никуда не делась. Если я что принимаю, значит, это мне подходит. Но хождение строевым шагом так и осталось для меня противным делом — и в детдомах, и позже в художественном училище на занятиях по военному делу вечно кричали: «Гарсиа! Что за ходьба вразвалочку?!» Я слегка напрягусь, вытянусь, а потом снова за свое. Ну и получал «тройку».

Запомнилась посадка на пароход в порту Хихон. Незнакомые звуки и запахи порта, торопливые движения взрослых, их возгласы, громада корабля, тихие, оробевшие дети — все свидетельствовало о том, что совершается нечто значительное. Но вот что удивительно: я, деревенский мальчик, поднимаюсь по трапу на громадный черный корабль, который увозит меня в далекую страну, один, оторванный от родной семьи, в толпе чужих людей — а мне хоть бы что: иду, как на экскурсию (в детдоме нас возили на автобусах на экскурсии показывать разные достопримечательности). Что станет со мной? Мне будто бы всё равно. Теперь, постигая свое тогдашнее состояние (оно врезалось в память), я понимаю: то не была бездумная покорность «овцы» в стаде. Нет, я бессознательно верил в свое хорошее, интересное будущее и с готовностью шел ему навстречу. Примерно так мы идем в театр: билет куплен, место известно, пьеса, говорят, интересная — что ж, посмотрим.

Стоял октябрь 1937 года, и мне было без малого девять лет.

Пароход — большое грузовое судно — предоставили французы. Нас разместили в наспех оборудованных трюмах, где пахло углем и свежеструганой древесиной. По дощатому трапу, правда, с перилами, мы спустились в трюм, где по обе стороны от прохода были сделаны многоярусные нары. Отхожие места (для многих сотен людей!) устроили вдоль одного из бортов: прикрепили к палубе длинные бревна, один конец которых зависал над водой, настлали на них пол с нужными отверстиями, соорудили «домики» с дверями — и всё в порядке. Страшновато было сидеть там «орлом»: пол качается, а под тобой, далеко внизу, играет море.

Приплыли в Брест, крупный портовый город на северо-западе Франции. И тут судьба в очередной раз показала мне свою силу.

Дело в том, что небольшая часть детей с нашего парохода должна была выгрузиться во Франции (французское правительство тоже выразило готовность принять партию беженцев), остальные направлялись в Советский Союз. Так вот, при приближении к порту нам опять надели на шею картонки, на сей раз с надписью «СССР» или же «Франция». На причале детей

встречало множество людей, в основном женщин. Спускавшихся на берег обнимали, целовали, тут же совали им плитки шоколада, коробки со сладостями. Оставшиеся смотрели на это с некоторой завистью: вот он, конец пути и добрые люди! У трапа выстроилась очередь детей, покидавших судно. Выходит из очереди знакомый мальчишка, спрашивает меня: «Хочешь во Францию? Если хочешь, давай картонками поменяемся». Я подумал и решил: «Эх, быстрей будет!» — и мы поменялись. Стою в очереди, вдруг, откуда ни возьмись, появляется строгий, высокий дядечка, который всем распоряжался. Заметил меня и спрашивает грозно (откуда-то он знал, что я должен ехать в Советский Союз): «А ты что тут делаешь?!» Посмотрел на картонку, все понял, схватил меня за ворот, оттащил в сторону, трясет меня и кричит: «Говори, с кем поменялся! Не скажешь — за борт кину!» — и тащит за собой по палубе. Я испугался, гляжу во все глаза. Увидел того мальчика и показал. Руководитель подошел к нему, сам переменил нам картонки, дал тому пару затрещин и потащил к трапу.

Что стало бы со мной, если б он случайно не подошел к очереди? С большой вероятностью могу предположить. Немцы, захватившие в 1940 году половину Франции, отправили бы меня, как и других детей, в том числе и моих братьев, обратно в Испанию, а там я, по стопам деда, отца и братьев, пошел бы работать в шахту. Правда, если Томас был бы к тому времени жив, а мать наша с пятью детьми на руках известила бы его о моем возвращении, то, скорей всего, он взял бы меня к себе, и судьба моя повернулась бы иначе. Но для меня ясно одно: то, что я обрел в России, кем я стал здесь — нигде в другом месте не получилось бы, а если бы и получилось, то все равно вышло б не лучше, а хуже. Я в этом убежден, хотя проверить мое предположение невозможно.

Между прочим, меняясь картонками, я проявил не только своеволие, но и легкомыслие: позабыл о Советском Союзе — стране сказочной жизни, где детям живется лучше всего и куда я так стремился.

Из Бреста мы поплыли в Лондон (то есть в лондонский порт, в стороне от столицы), где нас ждал советский пассажирский пароход «Кооперация». Нас переместили туда, и это было для детей рабочих и крестьян подобно чуду: нас разместили по каютам — коврики на полу, мягкие кожаные сиденья. Обедали мы в ресторане (было два ресторана на разных палубах), официантки ласково нам улыбались. В Северном море наш корабль с обеих сторон, в отдалении, сопровождали английские военные корабли. Мы разглядывали их с восхищением.

Запомнилась, причем очень четко, такая картинка.

Накрапывал мелкий дождик. Мне стало скучно сидеть в каюте вместе со всеми или бродить по коридорам, и я отправился на верхнюю открытую палубу. Там увидел множество больших ящиков, накрытых брезентом. Я издалека заметил уютное местечко между ящиками, пошел за приятелем и говорю ему: «Давай спрячемся на палубе, я знаю где». Пошли, улучили момент, когда моряки отвернулись, добежали до ящиков и спрятались между ними под брезент. Лежим в своем «домике», дождик стучит, брезент колышется от ветра, палуба качается, а нам хорошо — шепчемся, следим за ногами моряков, которые мимо ходят. Но вот один моряк нас заметил (наверно, услышал шепот), нагнулся к нам. Улыбнулся — и исчез. Ну, думаю, все: сейчас приведет воспитателя. Вскоре он вернулся с двумя другими матросами, поднял угол брезента — смотрят они на нас и смеются. Потом он присел на корточки и дал нам по банану. Мы пришли в восторг. Я, наверное, подумал: «Вот он какой, советский человек. Это о таких людях нам рассказывали!»

Между прочим, на «Кооперации», общаясь через переводчика с матросами, официантками и другими служащими, мы стали понимать и запоминать первые, самые главные слова русской речи: «я», «ты» «он», «да», «нет», «хорошо», «плохо», «это», «то», «хочу», «не хочу».

Прибыли в Ленинград. У всех настроение приподнятое: «Вот она — страна социализма!» Нас встречала несметная толпа народа. Милиционеры, взявшись за руки, устроили для нас коридор в этой толпе. Все смотрят на нас, как на диковину, улыбаются. Однако некоторые плакали. Суют нам шоколадки, конфеты — милиционеры не вмешиваются. Мне (наверно, и другим детям) надавали денег, видимо, те, кто не догадался купить сладостей — не знали же, как все будет. Деньги я быстро, деловито совал за пазуху.

Потом нас повели в баню. И — о ужас! Какая-то толстая пожилая тетка стала раздевать меня — донага! — а затем мыть какими-то лохмотьями (т. е. мочалкой). Я сопротивлялся, закрывал руками свои «места», но она цепко меня держала, вертела во все стороны, терла, терла и что-то лопотала, улыбаясь. Потом другие тетки надели на нас новую, красивую одежду. Мне досталась, кроме всего прочего, матроска — и я вдоволь налюбовался на себя в зеркале.

Найденные у нас деньги не вернули. Воспитатель объяснил, что они нам ни к чему: в город нас одних все равно не пустят, языка мы не знаем, а в детдоме всего будет вдоволь. Как распорядились теми деньгами, мне неизвестно.

Повели нас в ресторан обедать. Там, во время десерта и после

обеда для нас играл скрипач, пели девушки в красочных костюмах, но особенно понравились нам две большие «куклы», которые забавно боролись (потом оказалось, что это проделывал один человек: согнувшись пополам и передвигаясь на четырех — надев на руки ботинки. Две головы и четыре руки борцов были тряпичные). В общем, старались для нас, как могли.

Пробыв в Ленинграде, кажется, с неделю, мы разъехались на поезде по детским домам. Но еще до отъезда у меня началась ангина, причем, очень болезненная и опасная — «флегмонозная» (ее еще называют «заглоточный абсцесс»). Представьте себе, что в горле у вас большой фурункул! Ни разу в Испании не было у меня никакой ангины. А уже в поезде мне стало так плохо, что по прибытии в Москву меня туг же на машине отвезли в больницу. Через два или три дня, когда нарыв созрел, его вскрыли скальпелем, и я выплюнул в блюдце большую порцию гноя с кровью. Таким «боевым крещением» началась моя жизнь в Советском Союзе.

В больнице мне подарили заводную игрушку — грузовичок (наверно, копию знаменитой советской «полуторки»). По моей просьбе, выраженной знаками, мне принесли цветные карандаши и тетрадку. Потом я попросил отвертку и разобрал машину — кабину и кузов — на составные части, отделил колеса и мотор с пружиной. Понял, как все устроено. Тут в палате появилась медсестра и, увидев на тумбочке части машины, всплеснула руками, засмеялась и быстро вышла. Вскоре вернулась, с ней другие медсестры и врач, который меня оперировал. Все что-то весело говорят друг другу, улыбаются. Одна из женщин погладила меня по голове — мол, все хорошо. Вечером я аккуратно собрал машинку. Пришла утром медсестра с термометром и видит: я, полулежа в постели, играю с целенькой машинкой — катаю ее по буграм и впадинам одеяла. Опять засмеялась и выбежала. Вернулась с той же компанией: все глядят на меня с изумлением, улыбаются, одобрительно кивают головами: «Вот какой молодец!» Они наверняка думали, что мне лет семь — я был маловат для своего возраста.

Страсть к починке всякой техники — игрушек, часов, электроприборов, патефонов, музыкальных инструментов — осталась у меня на всю жизнь.

notes

Примечания

1

Митрополит Вениамин. На рубеже двух эпох. — М.: Отчий дом, 1994.